

Вадим Перельмутер

РЕНЕССАНС ВЯЗЕМСКОГО*

«...Я русский человек, а русский человек пьет со скуки или с горя. Так и я, упиваюсь рифмами, чтобы записать и забыть, хоть временно, все, что вынужден прочесть и проглотить в газетах».

Вяземский. Венеция. 3 декабря 1863 года

Книга итальянской филолога-славистки Нины Михайловны Каухчишвили «П.А. Вяземский в Италии» была завершена — и тут же издана — в 1964 году, то бишь более чем полвека тому назад. И стала второй книгой о Вяземском (первая, диссертация австрийского слависта Г. Вытженса, вышла тремя годами раньше в Вене).

На родине поэта первая диссертация о Вяземском была защищена три года спустя. Ещё через два года эта монография вышла томом в четыреста без малого страниц: «М.И. Гиллельсон. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество». Томом, который, как представлялось тогда, академически-обстоятельно мотивировал и утвердил сложившуюся в советском литературоведении *литературную репутацию* этого поэта и критика — как друга Пушкина и одного из ближайших его литературных соратников. И гибель Пушкина словно бы подвела черту, пусть не мгновенно, не сразу, под *значимой* — для истории русской литературы — деятельностью Вяземского.

Лаконично и категорически сие было высказано задолго, почти за сорок лет до книги Гиллельсона — Л.Я. Гинзбург, подготовившей и выпустившей в самом начале 1930-х годов том стихов Вяземского (в «Большой серии», основанной Горьким в 1931 году «Библиотеки поэта») и его «Старую записную книжку» (для которой из многочисленных записных книжек Вяземского, заполнивших три (!) тома собрания сочинений, были взяты лишь записи

* Вступительный очерк для книги «Пётр Вяземский. Итальянские стихи, записки, письма», составленной автором очерка. Книга выходит в издательстве «Б. С. Г. — пресс» осенью 2023 г.

«пушкинского времени», то бишь до конца 1830-х, после которых Вяземский жил — и писал — еще почти четыре десятилетия).

Этот «пушкинский рубеж» Лидия Яковлевна обозначила, итожа, одною фразой: «Уже с 1840-х годов все то, что составляло содержание литературной жизни Вяземского, оказывается исчерпанным».

Изданное после смерти автора мужем внучки князя графом С.Д. Шереметевым «Полное собрание сочинений» Вяземского она оценила немного более подробно: «...Если же извлечь из двенадцатитомного наследия Вяземского то, что было им написано в период актуальной работы (10-е–30-е гг.) и что реально дошло до современников, то мы получим два тома непервоклассных стихов и том статей, из которых лишь некоторые отмечены полемической остротой и злободневностью. Все же остальное падает на *поздние стихи, не имевшие никакого литературного значения* (курсив мой. — В.П.), на поздние статьи преимущественно мемуарного характера и на политические письма и записные книжки, из которых в 30-х гг. были опубликованы лишь незначительные отрывки».

А завершая послесловие к «Старой записной книжке», где, в частности, подробно изложила свои аналитические размышления о *двойственной* природе этого сочинения, не дающей, по ее мнению, оснований отнести его ни к одному из определенных литературных жанров, отметила — с явственным *интонационным* удовлетворением, — что «Старая записная книжка», все-таки, «не будучи литературным произведением», была произведением «высокого словесного искусства».

В очевидном согласии с такой *литературной репутацией* был текстологически подготовлен и академически-тщательно откомментирован В.С. Нечаевой том «Вяземский. Записные книжки (1813–1848)», изданный в 1964 году. Четырнадцать из тридцати двух (!) записных книжек, опубликованных в «двенадцатитомном наследии» Вяземского, ограниченные тем самым периодом, когда «содержание литературной жизни» автора еще не было «исчерпанным». Без последних тридцати лет. Тех самых, которые М.И. Гиллельсон в краткой главе-эпilogue своей книги обозначил-озаглавил как «Закат Вяземского»...

Н.М. Каухчишвили была знакома с этою работой В.С. Нечаевой — несколько раз ссылается на ее комментарии к «итальянским» записям Вяземского. Известно также, что, работая над сво-

ей книгою, собирая для нее материалы в сочинениях и архивных бумагах Вяземского, она общалась и В.С. Нечаевой, и с Л.Я. Гинзбург, посвященные Вяземскому работы которой, разумеется, тоже читала. Для ее *темы* вполне достаточно того, что «особенно насыщенными были периоды между 1820 и 1830 годом и эпоха зрелости», времена наиболее деятельного, гласного участия Вяземского в российской литературной жизни.

И *тему* своей работы она обозначает-ограничивает совершенно четко: «Мы попытаемся проследовать за Вяземским в его поэтическом путешествии по Италии, не углубляясь, однако, в критический анализ, который выходит за рамки данного исследования».

Этим и занимается. Тщательно, я бы даже сказал, скрупулезно прослеживает все месяцы-недели-дни пребывания Вяземского в Италии, его поездки и прогулки, посещения театров и музеев, встречи-знакомства с писателями, художниками, политиками, визиты к живущим в Италии соотечественникам etc, благо записи-заметки, не вошедшие в «Старую записную книжку», составляют целых два тома в Собрании сочинений, а кроме них, есть *итальянские* впечатления, размышления, «эпизоды» в письмах, некоторая часть которых тоже опубликована, однако большая хранится в архивах.

И резюмирует все эти исследования свои подробной «Хронологией путешествий П.А. Вяземского по Италии».

Особое, наиболее пристальное внимание уделено, понятно, первому посещению Италии — в 1834–1835 годах, то бишь *на излете* «пушкинской поры», когда поэт и критик Вяземский, по слову Баратынского, уже был «звездой разрозненной плеяды», но еще — в самом центре российской литературной жизни. Правда, с молодых лет, как положено любому поэту, художнику, музыканту, стремившийся *увидеть* Италию князь никак не мог предположить, что вскоре после сорокалетия причина той первой, долгой поездки — более восьми месяцев, из коих три четверти прошло в Италии, — будет вовсе не «литературной», но *житейской*, печальной, трагической.

Тяжело заболела пятнадцатилетняя дочь Прасковья, любимица «Пашенька», и теплилась, постепенно угасая, надежда на то, что сперва немецкие врачи, а затем целебный воздух Италии вкупе с римскими эскулапами помогут в беде. Не помогли.

*Все грустно, все грустней, час от часу тяжелей,
Час от часу на жизнь темней ложится мгла,
На жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе
Любимых дум моих святая цель была...*

Вяземский напряженно, даже нервно подвижен и деятелен в эти полгода. Годом раньше он писал: «Не сидится мне на месте, / Спертый воздух давит грудь, / Как жених спешит к невесте, / Я спешу куда-нибудь...» Подобное происходит и теперь, но в ином настроении. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни тем паче в Остафьеве он никогда прежде не бывал столь *подвижен*. Почти непрерывные прогулки по Риму, короткие из него отлучки «по историческим местам», встречи-знакомства, визиты, опера по вечерам, беглые, отрывочные строчки об этом в записной книжке и длинные, *медленные* письма по вечерам, вроде описания римского карнавала, каким он, судя по увиденному и услышанному, был, бывал издревле и, вероятно, будет впредь...

Он словно бы пытается отвлечься от снедающей его тревоги, хоть немного приглушить ее. И совсем не до стихов *итальянских*, разве что одно-единственное стихотворение — «Флоренция», — промелькнувшее по пути впечатление, солнечный проблеск.

*...Там солнце светит лучезарно
И рдеют золотом плоды...*

Тогдашний Рим Вяземского отзовется в его стихах много позже, в Петербурге, перед последней поездкой в Италию:

*...Здесь Рим сказался мне, здесь понял я, в слезах,
Развалин и гробниц его и плач, и прах;
Здесь скорби стен его, державной и глубокой,
Откликнулся и я печалью одинокой!*

Итальянские письма этих месяцев — к сыну, к жене, к сводной сестре, — если внимательно их читать, внятно воспроизводят именно такое настроение, душевное состояние Вяземского. И, думаю, кабы не Италия, оно было бы еще драматичней.

«Немного времени, а много скорби, так сроднили меня с Италией, что кажется — никогда не выезжал из нее, что в ней родился я, в ней и умер», — пишет он в начале мая тридцать пятого года из Вены, по пути в Россию.

Эти письма прежде не печатались. Каухчишвили извлекла их из архива (могу ей посочувствовать — читал рукописи Вяземского, сказать, что разбирать его почерк «трудно», значило бы польстить писавшему), снабдила необходимыми, на ее взгляд, примечаниями, поместила в «Приложении» к своей работе. И таким образом дала возможность читающим не только *провести* с Вяземским эти несколько месяцев, но и познакомиться с фрагментом-главою из эпистолярного наследия, которое, будучи собрано вместе, значительно превзошло бы объемом ту полдюжину томов «Остафьевского архива», какая была издана за полтора десятка лет в начале прошлого столетия.

И убедиться, что этим стремительно вымирающим ныне жанром князь владел превосходно.

Остальные письма, включенные в «Приложение» и тоже опубликованные впервые, относятся к более поздним посещениям Италии и отчасти дополняют отрывочные путевые заметки, разбросанные по записным книжкам...

Три следующие поездки Вяземского в Италию — в годы, когда его участие в российской литературной жизни, иначе говоря, общение поэта с читателями следующих поколений, как сказано, процитировано уже, *сошло на нет*, тщательно прочерчены автором работы *по пунктиру* путевых заметок. И откомментированы, верней сказать, *задокументированы*. Такая *академическая* основательность несомненно ценна для... будущих биографов Вяземского, дает возможность хорошенько разглядеть связанные с Италией *эпизоды* его длинной жизни, прежде почти ускользавшие от взгляда.

Достаточно сказать, что Гиллельсон, знавший о существовании книги Каухчишвили, вскользь упомянул о ней в своей монографии и лаконично обозначил ее содержимое: «Итальянские встречи Вяземского способствовали установлению личных контактов со многими деятелями культуры... Они вовлекали пушкинский круг писателей в интеллектуальное общение с передовой общественностью Западной Европы». Ничуть не попрекая автора нелепо ныне выглядящим пассажем о «передовой общественности Западной

Европы», адресованным, понятно, редакторам-цензорам-блюстителем советской печати, замечу лишь, что, судя по цитате, книга была ему введена «в общих чертах», но не читана (итальянским языком он, вероятно, не владел), иначе наверняка обратил бы внимание, что в пору трех из четырех поездок Вяземского в Италию из «пушкинского круга писателей» в живых оставался только один — сам Вяземский...

В отличие от первой части работы Каухчишвили, весьма ценной, повторю, для биографов, но едва ли для современных читателей поэта Вяземского, которым, на мой взгляд, несравнимо интереснее *отзвуки* тех путешествий — и самой Италии — в его сочинениях и потому вполне достаточно *биографической* «Хронологии путешествий П.А. Вяземского по Италии», с ней эти *отзвуки* нетрудно при желании соотнести, *центральная* часть книги — «Италия в творчестве Вяземского» — именно о них, об *отзвуках*. Об отношении Вяземского к итальянскому языку, истории, изобразительному искусству, литературе, музыке.

И о стихах, написанных в Италии — об *Италии*. «Не углубляясь (как было обещано-предварено, — *В. П.*) в критический анализ, который выходит за рамки данного исследования». Тем не менее, обильно цитируя стихи, *анализировать* их приходится. Однако анализирует их Каухчишвили, как бы поточней выразиться, ну, пожалуй, не совсем *как стихи*, скорее — как изложенные стихами — или поверенные стихам — итальянские впечатления и переживания. Потому что, поясняет, «иногда переживания были столь яркими, что мысль, не находя выражения в прозе (то есть в «длинных письмах» из Италии. — *В. П.*), обращалась к поэзии». Она пишет об этих стихах вне связи их с «не-итальянскими», более ранними, либо поздними, обращая преимущественно внимание на то, *что* написано, но не *как*; на *тематику*, но не на *поэтику*. Не выходя «за рамки данного исследования». Понимая, что: «Вероятно, из-за особенностей характера князя его знания об итальянском мире были глубже, чем можно установить на основе анализа его творений, который мы попытались провести максимально тщательно».

Тем не менее эта пунктирно-подробная череда обнаруженных исследовательницей *отзвуков* делает *академическую* работу, проделанную, повторю, полвека назад, неожиданно *актуальной*

ныне, когда *литературная репутация* Вяземского совсем не такова, как была тогда.

Случай, по-моему, *уникальный*, ничего подобного в памяти не отыскивается.

Книжка И. Н. Розанова «Литературная репутация» вышла в 1928 году. За год до публикации «Старой записной книжки» и первой в двадцатом веке статьи о Вяземском, в коей Л.Я. Гинзбург, напомним, охарактеризовала его литературный путь. Еще не пользуясь *свежим* термином, который чуть позже вошел *научно* в историю литературы и литературоведение, зажил там привольно, угнездившись едва ли не в каждой из заметных, *значимых* писательских биографий и размышлениях филологов об оных.

У Розанова показано — как эта самая *репутация* возникает и слагается, какие закономерности и — нередко — случайности, читательские и критические отклики на сочинения (и ставшие публичными известными жизненные ситуации и поступки писателя) на сей процесс влияют. И рассказано — на примере Бенедиктова, — как трудно даются и, как правило, оказываются безнадежными впоследствии попытки сложившуюся *репутацию* оспорить, изменить, не говоря уже про опровержение...

Три десятка лет назад Андрей Донатович Синявский рассказывал мне, как попытался это сделать на семинаре, который вел со студентами-русистами в Сорбонне (тему *пролоббировал* на попечительском совете факультета Н.А. Струве, незадолго перед тем издавший в «Утса-Press» том стихов Бенедиктова, история весьма забавная, но подробней — как-нибудь в другой раз). И безуспешно. В их «картинку» представлений о русской поэзии первой половины XIX века, поверхностно прочерченную разве что именами Жуковского, Пушкина и Лермонтова, это имя *не вписалось*. Хотя, разумеется, узнали они от профессора про Бенедиктова и его стихи совсем немало...

Вяземскому *повезло* больше, чем Бенедиктову. Его *литературную репутацию* переменить, не только по-моему, удалось. То бишь обратить внимание читателей — и литературоведов-стиховедов — на сочиненное им во второй половине жизни. И первая попытка пришлась (надо сказать, по чистой случайности) на год столетия со дня смерти поэта.

Шестнадцатого ноября 1978 года (за шесть дней до *столетия*) в издательстве «Детская литература» была «сдана в набор» (отправлена в типографию — и через три месяца вышла в свет стотысячным тиражом), составленная автором этих строк книга Вяземского «Лирика». Две трети которой — его *поздние* стихи. Дата, разумеется, от *годовщины* не зависела. Просто завершилась довольно-таки долгая моя работа с редактором Натальей Посвянской — подгадать такое к *юбилейной* дате невозможно, да мы про то и не думали. Никогда прежде не интересовался «выходными данными» своих книг, но сейчас почему-то захотелось взглянуть — и *обнаружилось*.

Рецензировали подготовленную книгу — для издательства — М.И. Гиллельсон и пушкинист М.П. Еремин, любимец нескольких поколений литинститутских студентов. Максим Исаакович против издания не возражал, однако заметил, что «составитель» слишком «узко» трактует термин-понятие «лирика» и потому не включил изрядное количество *знаменитых* в пушкинскую пору сатирических и «гражданских» сочинений автора, отдавая броское предпочтение написанным в старости *менее значительным* стихам. А Михаил Павлович, напротив, порадовался своему знакомству с замечательными стихами, которым прежде не уделял *должного* внимания.

Летом семьдесят восьмого, будучи в Ленинграде, я познакомился-встретился с Гиллельсоном и Гинзбург. И услышал от обоих, что мой интерес к *позднему* Вяземскому-стихотворцу, конечно, похвален, однако его «вклад» в историю русской поэзии XIX столетия я, мягко говоря, несколько преувеличиваю.

Тем не менее четыре года спустя М.И. Гиллельсон выпустил двухтомник Вяземского (стихи и статьи), где во вступительном очерке, говоря кратко о стихах, ограничился «пушкинским периодом», но добрую половину «стихотворного» тома отвел сочинениям второй половины жизни поэта, его «закату». А во втором томе, где статьи, поместил и прокомментировал «приписки» к ним Вяземского, которые тот сделал незадолго до смерти, когда по просьбе Якова Грота помогал ему готовить к изданию свое собрание сочинений, просматривал-перечитывал давным-давно написанное-напечатанное.

Еще через четыре года Л.Я. Гинзбург подготовила новое издание тома Вяземского для «Библиотеки поэта». И не только изрядно пополнила его *поздними* стихами, теми самыми, напомним, какие

«не имели никакого литературного значения», их там более трети, но и добавила к прежнему вступительному очерку своему новую главу про эти стихи, признав таким образом, хоть и не без оговорок, что некоторое, так скажем, «значение» они все-таки имели...

Замечу попутно, что той давней своей оценкой *позднего* Вяземского Лидия Яковлевна — невольно — ввела его в неплохую кампанию поэтов второй половины XIX столетия, чьи стихи тоже для критиков и читателей-современников не имели — или почти не имели — «литературного значения», таких, как Тютчев, Фет, Случевский. Ну, разве что Тютчева *заметил* Некрасов, Фета *приметил* Толстой, Случевского *расхвалил* было Аполлон Григорьев. Но и только. Без *последствий* у читателей. Много позже символисты *воротили* всех троих, а у младшего из них, у Случевского, родившегося в год смерти Пушкина, с удовольствием бывали на «Субботах».

Вяземского *миновали* и они...

Кстати, в том же, восемьдесят шестом, Иосиф Бродский *оспорил* мимоходом мнение Л.Я. Гинзбург и о поэзии Вяземского, назвав его «превосходным, хотя и недооцененным» поэтом, и о «Старой записной книжке», написав, что сочинение это *литературное* есть чтение замечательное — для тех, кто интересуется: «Тут он наш Шамфор и Ларошфуко в одном лице»...

В девяносто втором в Литературном музее открылась большая выставка, посвященная двухсотлетию со дня рождения поэта. И *поздний* Вяземский был там представлен весьма основательно. Равно как и на двух научных конференциях, прошедших в те же дни в Литмузее и в Остафьево...

Наконец, полугодием позже, в мае девяносто третьего, вышла моя книжка о Вяземском «Звезда разрозненной плеяды!..» Почти десять лет преодолевала она на пути к читателям барьеры *хрестоматийных* представлений о нем.

О том, что с возрастом заметно переменялись его «политические взгляды», мол, даже книгу целую написал — в защиту *нелюбимого* им прежде Николая I от «нападок Запада» (приведших, напомним, к Крымской войне 1855 года). Правда, книгу эту, «Письма русского ветерана 1812 года», Вяземский написал по-французски, издал в Бельгии (на русский П. И. Бартнев перевел ее уже после смерти автора — для Полного собрания сочинений). И, при желании, нетрудно увидеть, что *защищает* она, подчас, надо сказать,

весьма запальчиво, не столько императора российского, сколько саму Россию, которой грозят войною.

О том, что *сблизился* князь впоследствии с Двором, которого «в зрелые годы» сторонился, чинов достиг высоких, «товарищем министра» (в нынешних терминах — «заместителем») побыл, академиком стал, а в 1866 году — первым Председателем только что основанного в Санкт-Петербурге Русского исторического общества, etc. Правда, стоило бы упомянуть, это был Двор Александра II, царя-реформатора.

О том, что не понял, *не оценил он*, как они того заслуживали, лучших поэтов и прозаиков младших, следующих поколений, например, Некрасова, Островского или Толстого. И тем самым как бы выпал из «литературно-исторического контекста». Правда, подобное отношение *старших* к *младшим* в истории литературы (не только русской) отнюдь не редкость. И «старик Державин», *благословивший* Пушкина и его сверстников-лицеистов-стихотворцев, скорее исключение, нежели обыкновение.

Вяземский описал забавный и куда более привычный случай: «Пушкин читал своего “Годунова”, еще не многим известного, у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения, я стоял тогда возле Крылова, Пушкин подходит к нему и, добродушно смеясь, говорит: “Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и, на глаза ваши, не хороша” — “Почему же не хороша? — отвечает он. — А вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял Божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый, с двумя округленными горбами, спереди и сзади: “Не грешно ли вам, пеняет он ему, насмеяться надо мною и в присутствии моем уверять, что в Божьем создании все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня”. — “Так что же, — возражает проповедник, — для горбатого и ты очень хорош”. Пушкин расхохотался и обнял Крылова».

Кстати сказать, при том, что некрасовское сочинительство Вяземскому не понравилось, он однако, будучи недолго, во второй половине пятидесятых, *наблюдающим* за цензурой, твердо сказал цензору, *смуценному* стихами Некрасова, что сперва напечатать надо, потом, ежели хочешь, критиковать — *в присутствии читателя*.

Ну, а сам Некрасов, к примеру, не обратил внимания на младшего современника, на Случевского. А Толстой, скажем, попросту *не заметил* — то ли *проигнорировал* — символистов, которые в последние лет пятнадцать его жизни уже всю печатались...

Попреки в *переменах* долетали до него и при жизни. На них среагировал, заметив бегло, что дурак один не меняется, потому что «опытов для него не существует». Это и к стихам его относится — и к ранним, и к зрелым, и к поздним...

Книжку мою выпустил в итоге издатель, который все это вычитал из нее и понял.

Рассказываю вовсе не затем, чтобы «попрекнуть» задним числом замечательных литературоведов, сделавших чрезвычайно много для нашего знания — и понимания — истории русской литературы, дескать, «проглядели», «недопоняли» etc. Просто хочу прояснить, как непросто и медленно происходит, если происходит, освобождение от давно сложившегося и вроде бы убедительно мотивированного стереотипа *литературной репутации*. Как там, где некогда был поставлен восклицательный знак, время постепенно выводит знак вопросительный, который, остроумно заметил Сигизмунд Кржижановский, «есть состарившийся восклицательный»...

Некраткое отступление понадобилось мне, дабы очертить происшедшее с *литературной репутацией* Вяземского за тот немалый срок, что миновал с момента издания книги Н.М. Каухчишвили. Она дала теперь возможность, не торопясь, взглядеться и вслушаться в *итальянское время* поэта. И сделать это в *контексте* всего долгого, почти семидесятилетнего его сочинительства, увидеть, связано ли каким-либо образом его *позднее* творчество с тем временем. И если да, то как. Заодно, конечно, перечитать его записные книжки — три тома Полного собрания сочинений, выделяя для себя *итальянские* фрагменты, чтение увлекательное. И не только их.

Один пример. Когда работал над книгой о Вяземском, порадовался, помнится, строчкам: «Иные любят книги, но не любят авторов — не удивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел». И только сейчас обнаружил не замеченную тогда *переключку* — в одном из последних стихотворений остроумное сравнение обернулось метафорой:

*Я все испробовал от альфы до иоты,
Но, беззаботная и праздная пчела,
Спускаясь на цветы, не собирал я соты,
А мед их выпивал и в улей не сносил...*

Кстати, цитируя, только сейчас заметил тут же, чуть раньше:

*Способный человек бывает часто глуп,
А люди умные так часто неспособны...*

Когда это попало в стихи, едва ли помнился автору задолго до того, лет за двенадцать, промелькнувший в записной книжке фрагмент: «Вообще-то у нас замечается, что люди умные мало способны к службе, а люди, к ней способные, когда и бывают умны, как-то отрекаются от ума». И подобного при чтении зацепилось глазом и памятью немало...

В общей сложности Вяземский провел в Италии полтора года. Шесть месяцев (из восьми, которые длилась вся поездка) в Риме в 1834–1835 годах, четыре — в Венеции в 1853 году и еще восемь — десять лет спустя, опять же, в Венеции, ненадолго, на несколько дней, отлучаясь из нее — в Милан, Виченцу, Верону, Мерано. Шестидневный визит пятьдесят третьего года в Геную достаточно лишь упомянуть, он к нашей теме *не в счет*.

О первой поездке уже говорилось, она следа в его поэзии почти не оставила, ему тогда было не до стихов. Разве что отмечу среди множества тогдашних встреч знакомство в тридцать пятом с Карлом Брюлловым. После двенадцати лет, проведенных в Италии, художник в том же году вернется в Россию. В тридцать девятом напишет портреты И.А. Бека и его жены Марии Аркадьевны — с крохотной дочерью Марией на руках. В сорок восьмом, через шесть лет после смерти мужа, Мария Аркадьевна выйдет за сына Вяземского Павла. И девятилетняя Мария станет приемной — и любимой — внучкой поэта. Семнадцать лет спустя к ней, редкостной — вся в мать — красавице, в замужестве графине Ламсдорф, он обратится

восьмистишьем с иронически-грустной концовкой: «В вас рад я любоваться внучкой, / Но деду я не рад в себе». Но это — к слову...

С двумя неравными частями *венецианского* года Вяземского — иначе. Совсем иначе. Стихов было много, даже очень много — и не только *итальянских*. Неожиданно, пожалуй, для него самого.

По возвращении в тридцать пятом из Рима, прийти в себя — после пережитого там — ему помогло затеянное Пушкиным издание «Современника» (заглавие было придумано Вяземским еще в тридцать седьмом. Вместе с Жуковским он стал деятельным сотрудником друга в этом непростом предприятии. В частности, именно ему и Жуковскому, как известно, *обязан* был Тютчев своей первой публикацией в России — «Стихов, присланных из Германии». Напомню: приехавший в столицу после трехлетней службы в Мюнхене, где подружился с «дипломатом-коллегой» Тютчевым, кузен жены Вяземского князь Иван Гагарин передал Вяземскому часть полученного от Тютчева рукописного «собрания стихов». А Вяземский познакомился и дружески общался с Тютчевым за два года до того, будучи в Мюнхене (про то есть в его письмах). Так что «Стихи, присланные из Германии» — *журнальное заглавие*. Это стихи, присланные автором *поэту*, доброму знакомому...

В середине зимы тридцать седьмого все это оборвалось...

Он, конечно, пишет стихи, но лишь иногда, время от времени, подчас увлекаясь, верней, увлекаем всецело движением мыслей и слов, как в «Брайтоне» или «Степью». В сорок восьмом послал несколько новых вещей Жуковскому (среди них — «Тропинка» и «Сумерки»). И вскоре получил ответ: «Твои стихи не поэзия, а чистая правда. Но что же поэзия, как не чистая правда?..» Разумеется, автор стихов легко распознает *отсылку* давнего друга, некогда бывавшего в Веймаре...

Но такого все меньше.

В последние перед *итальянской* поездкой пятьдесят третьего года он почти перестал писать. За три года — всего одиннадцать стихотворений: шесть, четыре, одно...

Смерть дочери в Риме словно бы положила начало череде потерь в полтора десятилетия, самой трагической поре в жизни Вяземского. После гибели Пушкина он теряет — одного за другим — детей и друзей. В сороковом не стало дочери Надежды, в сорок четвертом — Баратынского, годом позже — Александра Тургенева,

в следующем году — Языкова, в сорок девятом — дочери Марии (в замужестве — Валуевой), в пятьдесят втором — Жуковского...

Летом пятьдесят четвертого — в стихотворении «Сознание» — он скажет:

*Я к старости пришел путем родных могил:
Я пережил детей, друзей я схоронил...*

А пятьдесят третий он провел в Европе. Встретил его в Дрездене. Время от времени выбирался в недалекие немецкие города. Сочинил «по случаям» семь стихотворений, по большей части, как сам обозначил, «не написал, а надумал». То бишь в поездках-прогулках набормотал, потом записал. Раз на пару дней добрался до Швейцарии. В мае переехал в Карлсбад, оттуда — через Прагу — в Вену. В записной книжке про эти месяцы — почти ничего примечательного, так, *информация*.

Наконец, в начале августа (по юлианскому, в России принятому, календарю, Вяземский записи свои датирует по нему, изредка — в скобках — «двойственно», указывает и георгианскую, *европейско-католическую* дату, на 12 дней позже) добирается до Венеции, — впервые, в прежней *итальянской* поездке ее миновал, — и *оседает* в ней на целых четыре месяца, до декабря.

«Плавание до Венеции было покойное и прекрасное. Светлый день, море тихое, то синее, то зеленое. Плыли шесть часов и прибыли в Венецию в полдень»...

Предвестие?..

Первая *венецианская* запись — изрядная выписка из истории Венецианской республики конца XVII — начала XVIII века, с «экскурсом» в более древние времена, когда была она торговым и культурным центром южного приморья Европы, ее «золотой век». Он готовился к поездке. Прекрасно понимая, что попадет совсем в иную жизнь *бывшей* республики, которая вот уже почти четыре десятка лет пребывает под властью Австрии...

Он неспешно *осваивает* этот город пешей ходьбы и гондол, неслышно скользящих меж островами. Город, сразу откликнувшийся в нем другим, *своим*, тоже возведенным там, где, казалось бы, это

едва ли возможно *по определению*: один — на сотне с лишним прибрежных островов, по слову Вяземского, «в царстве морском», другой — на болоте прибрежном, где островов почти столько же, чуть меньше (это потом, позже, разрастаясь, густея обитателями, Петербург утратил большинство островов, проливы меж ними были засыпаны, заровнены). И эта перекличка старой, южной Венеции с новой, северной, как вскоре по возникновении был окрещен Петербург обывателями своими и европейскими путешественниками, станет потом то и дело возникать в *венецианских* стихах Вяземского.

Август в тот год выдался жарким.

«Я еще не начинал походов своих по здешним палацам и церквам, ожидаю, чтобы жар спал, — пишет он вскоре по приезде к одному из немногих оставшихся у него давних друзей, А.К. Булгакову. — Видел я только кое-что мимоходом. Я наслаждаюсь этою независимостью от повинностей, которым подлежат обыкновенные путешественники. Между тем, почти каждый день захожу в базилику Св. Марка и каждый раз с новым наслаждением... И не забывайте, что Венеция, как она ни прекрасна собою, все-таки лысая красавица, и нам бедным некуда притูลиться».

Несколько дней спустя: «Сегодня первый день отдыха или роздыха после томительных жаров. Всю ночь дул ветер, и воздух освежился»...

Стремительные перемены погоды невольно ассоциируются с Петербургом, очень похоже. Запись днем позже: «Напрасно клеплет мы на петербургский климат и на изменчивость его погоды, как будто ему исключительно свойственную. Третьего дня мы умирали от жара, днем жарились на солнце, а ночью разваривались в соку своем от духоты. Вчера было уже свежо, а сегодня еще гораздо свежее, так что, может быть, и в Петербурге теплее».

Следующий день: «Петербург продолжается: ветер свежий, дождь, вода из каналов выступает и заливают мостовую... Вчера в темноту, в 12-м часу ночи ходил я вдоль Canale delle Giudecca: волны плескали на набережную»...

И еще один: «...Если декорация переменялась и Венеция уже не смотрит Петербургом, то все еще крепко смотрит сентябрем»...

В его записках отчетлива «независимость от повинностей» *туристических*. В которые обыкновенно не включена, например,

прогулка по следам живших — или бывавших здесь поэтов — от Ренессанса до недавних времен,

«Был в библиотеке Дукального дворца. Рукопись Тассо. Писал широко, большими буквами и довольно неправильными, вместе с рукописью отца, который тоже был поэт...»

А затем: «Посещение Pallazo Mocenigo, в котором жил Байрон, сохраняется письменный стол его. Тут же картина Тинторетто, служившая моделью большой его картины «Рай», хранящейся в большой зале Дукальной библиотеки...»

Поездка, верней, плавание на остров Св. Лазаря. «Армянский монастырь мекитаристов, от имени основателя Мекитара... Стол, на котором Байрон учился армянскому языку. С отцом Pascal Aucher, который нынче очень стар и разбит параличом. На приветствие мое ему, что он пользуется европейскою известностью, отвечал он мне, что обязан тому путешественникам, которые слишком благосклонно о нем отзывались, особенно Байрону, напрасно преувеличившему трудность армянского языка»...

Желание непременно пройти по следу, оставленному здесь Байроном, понятно, он был *знаковой фигурой* для всех поэтов «пушкинской плеяды». Это имя то и дело появляется в записных книжках Вяземского — на всем их протяжении. Вплоть до последней, до записи от 21 сентября 1875 года: «Послал маркизе d'Elу в Лондон английский билет в 5 фунтов стерлингов для внесения в подписку, собираемую на сооружение памятника Байрону».

Про базилику Св. Марка он не раз еще повторит: «Каждый день захожу в базилику Св. Марка и люблюсь ею»...

И тем не ограничивается: «Вчера лазил я на колокольню Св. Марка... Обширный вид. Городские каналы закрыты крышами домов, и тут не догадаешься, что город построен в царстве морском».

Разумеется, и к прочим шедеврам Ренессанса — и не только Ренессанса — он отнюдь не равнодушен. И не упускает при этом случая перейти от них мыслью к современности, в частности, и к российской.

«...Заходил в церковь Sv. Sebastiano — особенно богата картинами Паоло Веронезе... Тут погребен Веронезе и поставлен бюст его. Стены и потолок им же расписаны. На месте, где покоятся останки, нет памятника, но самая церковь лучший и собственноручный ему памятник. Памятники нужны тем, о коих следует напоминать»...

И еще. Собор Св. Марии Фрари: «Гробницы Тициана и Кановы — одна против другой... Памятник Кановы сооружен по его рисункам, которые он готовил для памятника Тициану. Это напоминает Requiem Моцарта, который, не угадывая того, сам себя отпел. Монумент сей сооружен по европейской подписке и стоил 102 т. франков (немного в сравнении с тем, чего стоят наши памятники в России, которые к тому же не умножают собою наличного капитала всемирных изящных богатств)».

Две недели спустя в письме к жене Тютчева Эрнестине подробно рассказывает о празднике Рождества Богородицы в церкви Св. Марии...

Уличная современность подчас врзается в его впечатления — железом по стеклу: «Ужасная музыка вокальная и инструментальная, которая дерет уши по всем направлениям площади перед кофейнями... Странное дело, как музыкальная натура Италии производит подобных мучителей и выносит подобное мученичество»...

Разочарован оперным театром: «...Бывают и балеты, но пение и пляска довольно посредственны. Танцовщицы здесь имеют дворцы, но не имеют ног»...

Но чаще раздражение как бы нивелируется иронией, которой всегда ему было не занимать: «Для окончательной характеристики Piazza нельзя не упомянуть о скамьях и соломенных стульях, на которых следует сидеть... Должно полагать, что у итальянцев и итальянок некоторая часть тела туго обита сафьяном, а для нас эти седалища настоящее орудие пытки, вероятно, остатки древней мебели, на которой инквизиция усаживала гостей своих в приемные дни»...

Или так: «Одни дожившие до нынешних дней потомки древней Венецианской республики — это голуби площади Сан-Марко, которые и теперь кормятся на иждивении правительства. Но эти республиканцы вовсе не дикие и не кичливые, а напротив, ручные и общежительные. Они гуляют по площади и, встречаясь с вами, только чуть-чуть отходят в сторону, чтобы дать вам пройти»...

Или так: «Венеция под дождем или в ненастье то же, что красавица с флюсом, который кривит ей рожу. Поневоле изменишь ей, как прежде ни любил ее»...

Всего лишь месяц минует, и он обнаруживает, что нашел, пусть — понимает — ненадолго, ту внутреннюю, спокойную свобо-

ду, какой был лишен полтора десятка лет. Среди старых, старинных домов и дворцов, давно поутративших свой первоначальный пылкий блеск и таящих бывшее совсем рядом с повседневностью, связано с нею, по берегам искрящихся на солнце или тускло и слабо плескучих в пасмури под веслами гондольеров.

«Эта бесколесная жизнь, эта тишина убаюкивает душу и тело... Одним словом, не пускаясь в фразы и в описательную прозу, скажу вам, что мне Венеция прелестна и жизнь в ней имеет невыразимую сладость»...

Вот только: «...Трудно воспеть Венецию. Она сама песня. И как ни пой ее, она все-таки тебя перепоеет. Я думаю, и Паганини не взялся бы аккомпанировать на скрипке своей соловью. Он заслушался бы его, да и баста»...

Однако уже написано первое из *венецианских* стихотворений:

*Город чудный, чресполосный —
Суша, море по клочкам, —
Безлошадный, бесколесный,
Город — рознь всем городам!..*

И второе — «Ночь в Венеции»:

*По зеркалу зыбкого дола,
Под темным покровом ночным,
Таинственной тенью гондола
Скользит по струям голубым...*

И «Царица красоты»:

*...Пред зеркалом, парчу накинув на плеча,
Царица красоты лобуетя собою,
И падает до ног жемчужная парча,
И вьется по земли жемчужной бахромою.*

И «Giardino publico»:

*...Люблю бродить в саду и думой дальней
Иных дорожек хладный грунт топтать*

*И в осени, красавице печальной,
Черты давно знакомые встретить....*

Воспоминание осенних прогулок на Петербургских островах...

Двенадцать стихотворений про Венецию и про свою жизнь в ней. И еще одно — тоже *итальянское* — после краткой поездки на Торчелло.

Он и впрямь не похож на «обыкновенных путешественников», он здесь *живет*, заходит в часовни, таверны, бродит по узеньким, сумрачным даже в солнечные дни улочкам: «Я очень люблю проникать... в эту довольно животрепещущую внутренность Венеции, где жизнь простонародья вращается во всей своей деятельности и простоте».

Вглядывается и вслушивается в происходящее вокруг — и пользуется всяким, даже неожиданным и странным случаем узнать побольше про здешнюю жизнь: «Встреча и знакомство с отставным палачом, которого принимал я за нищего и которому давал милостыню. Впрочем, он точно беден, стар и дряхл. Надобно с ним короче познакомиться и проведать его подноготную».

Обнаруживает, что: «В Palazzo Foscari — теперь австрийская казарма». И *комментирует* — в стихах:

*Печально видеть, как в казармы
Здесь обращаются дворцы;
Как здесь солдаты и жандармы
В чертогах Фоскари жильцы...*

Обращает внимание на то, что в Венеции «40000 бедных — при населении 110000».

Через два с половиной месяца по приезде они с женой меняют жилье, перебираются туда, где им больше нравится. И тут же — запись: «Один из нищих спросил меня: не был ли я болен, что давно не видать меня. Теперь, что переехали на пол-канала, прогулки и нищие мои переменились».

Посещает табачную фабрику, где «работает более 1000 женщин, девиц и детей». И резюмирует: «Тут можно сделать смотр состояния венецианского женского пола».

Подробно знакомится с госпиталем для *малоимущих*, куда отвозит его доктор Намиас и где могут обрести одновременно помощь до тысячи страждущих, а в случае надобности неурочной — и до двух

тысяч. Отмечает, как здесь просторно и удобно — и для больных, и для врачей («бывшее палаццо»), перечисляет, как все продумано и организовано. И оценивает: «Прекрасное заведение»...

Венецианских записей за четыре месяца наберется столько, что они впоследствии займут почти шесть десятков страниц в десятом томе Полного собрания сочинений, отведенном записным книжкам последней четверти жизни поэта. Он много дольше бывал жил во Франции, десятилетиями в германских княжествах и королевствах, однако ни один другой город — и даже страна — не подарили его записным книжкам такого количества — и разнообразия — связанных переживаний, впечатлений, размышлений. Целую книжку — внутри книжек. Которая вот уже более ста тридцати лет не перепечатывалась ни в одном издании Вяземского.

Потому и цитирую — вразброс, но изобильно, — хочу дать хотя бы общее о ней представление.

А еще он пишет стихи, много, не только *венецианские*. К концу года их слагается больше тридцати. Такого у него не бывало очень долго, лет двадцать. И оно нимало не прерывается по возвращении из Венеции: за оставшуюся ему четверть века им написано больше, чем за сорок прежних лет.

Это — его *ренессанс*. Он, я бы сказал, *вернулся в литературу*. Остался собой, *узнаваем*, но, конечно, изменился — «дурак один не меняется»...

Двадцать пять лет спустя он напишет одно из последних своих стихотворений — «Бессознательность»:

*Мы часто действуем случайно,
Хандрим и любим невзначай,
Все в нас от нас творится тайно,
Как за собой ни примечай...*

.....
*Мы, как тростник, под ветром зыбки,
Под нами почва неверна,
Мы впечатлительны и зыбки,
Как мимотечная волна.*

*И цвет, и облик свой меняя,
Всё, что над ней, всё, что кругом,
Волна приемлет, отражая
В скользющем зеркале своем.*

*В реке, что жизнью называем,
И мы — зеркальная струя,
И мимоходом отражаем
Все впечатленья бытия...*

Замечу — не «в скобках», — что двадцатилетний Зигмунд Фрейд в это время учится в Венском университете, еще не помышляя ни о психиатрии, ни о психологии. Он закончит учение через четыре года. А первую свою работу о *бессознательном* напишет-опубликует двадцать лет спустя.

В отличие от ученого, от исследователя, поэт не *додумывается*, он *догадывается*...

И про что бы ни писал, пишет о себе.

Мне видится, что, живя в Венеции, Вяземский *бессознательно* уловил *созвучие*, которое и послужило, ежели угодно, *импульсом* к тому, что стало, нарастая, с ним — поэтом — происходить, к его *поздней лирике*.

Венеция в ту пору была глубокой *провинцией* на обочине европейской дороги-истории, равно как вся разрозненная на герцогства-княжества-республики, давно утратившая *государственность* Италия. Однако от провинций, так сказать, «традиционных», отличалась она тем, что знавала — и долго, столетиями, — не просто лучшие, но поистине блистательные времена, пребывала в *центре* европейской жизни — и культуры. И это единственная европейская страна, где несмолкшее эхо былых времен, где многовековая история, не только архитектура-живопись-музыка-поэзия, но и некоторые *ритуальные* особенности давным-давно зародившихся празднеств, вроде карнавалов — римского, венецианского и прочих, — да только начни перечислять, органически сочетаются, нет, скорей даже растворены в повседневности современной. И быть может, в Венеции, с ее обозначенной, очерченной водою морской «бесколесной» *отдельностью*, это чувствуется всего острее.

Для Вяземского то чувство оказалось созвучным его собственной долгой жизни-истории, протянувшейся через несколько эпох российской истории и литературы, через три несхожих царствования (он вот-вот доживет и до четвертого, изрядно *захватит* его). И все прожитое и пережитое, «все впечатленья бытия», присутствуют в нем, в его повседневности, то и дело отзываясь — в стихах, в записках, в размышлениях — отчетливыми воспоминаниями, реминисценциями, цитатами. И у него был *золотой век*, и он бывал причастен событиям *историческим* — драматическим и триумфальным, а теперь оказался *на обочине* литературной дороги второй половины XIX века, да и политической жизни.

Думается, и его раздражение — в Венеции — современной тамошней поэзией, невысокого класса оперными и балетными представлениями, раздирающей слух уличной музыкой — тоже «в рифму» к происходящему в России, из которой он теперь охотно и надолго уезжает.

Это *созвучие* вызвало уникальный творческий взрыв, дало *заряд*, которого хватило на всю оставшуюся жизнь...

За десятилетие *после Венеции* многое изменилось в его жизни. Вместо «царя застоя» Николая I — его сын, «царь-реформатор» Александр II, бывший воспитанник Жуковского, с отрочества знавший Вяземского. При нем Вяземский три года пробыл «товарищем министра» народного просвещения А.С. Норова (брата декабриста В.С. Норова). Вышел в отставку — в записной книжке поразмыслил об этом шаге: «При Дворе я не Двор любил, и меня вовсе не тешило, что и я имею место между придворными скороходами и *скороползами* всех чинов и всех орденов. Мне дорого и нужно только сочувствие; а без сочувствия мне там делать нечего, о чем следует при удобном случае крепко и окончательно подумать». Дружеские отношения сложились с императрицей Марией Александровной, *поклонницей* поэта. Он посвящал ей стихи. Читал стихи на ее *вечерах*. Беседовали о литературе: «Читал императрице из воспоминаний Пущина о Пушкине»... При отъездах его из России переписывались.

Время понемногу сгладило трагическую горечь потерь, как бы преобразило в печаль воспоминаний...

Он снова обрел, наконец, ту внутреннюю свободу, нехватку которой остро чувствовал со второй половины тридцатых годов.

Среди стихов этой поры появляются пространные сочинения нечастого в поэзии *мемуарного* жанра. Об одном из наставников отрочества своего Дмитриеве — «Дом Ивана Ивановича Дмитриева». О Михаиле Вьельгорском — «Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть рано...» О собственной прошлой жизни — «Литературная исповедь»:

*...Писал, когда писать в душе была потреба,
Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,
И не давал себя расколам в кабалу
И сам не корчил я вождя в своем углу...*

— где третий стих отзывается полутора строчками записной книжки: «Деспотизм расколов безграничен, особенно литературных, безусловнее даже религиозных».

И про сам этот жанр:

*...Воспоминание, минувшего зарница,
Блеснет и озарит пройденный нами путь,
И прожитые дни, и выжившие лица —
Все тени милые — теснятся в нашу грядь.*

Иногда этот проблеск мимолетен — реминисценцией-напоминанием о прежнем — и всегдашнем — друге: «Привычка мне дана в замену счастью»... И о собственном — давнем — переживании:

*Приветствую тебя, в минувшем молодая,
Давнишних дней приют, души моей Помпея...*

Тут, кроме, «Приветствую тебя, пустынный уголок, / Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...», упоминание трагической судьбы города, который тридцать лет назад посетил, на два дня вырвавшись из Рима, где происходила первая из трагедий его долгой жизни...

В записных книжках — явственно больше, чем лет за пятнадцать предыдущих, заметок и размышлений о литературе, о поэзии.

Вечный спутник его — Карамзин: «Дорогою читал “Письма русского путешественника”». Не читал, конечно, — перечитывал. «Когда бываю за границей, всегда беру с собою Письма Карамзина и перечитываю многие из них с особенным наслаждением. Люблю отыскивать, угадывать следы его, разумеется, давно стертые с лица земли». Он ведь когда-то и в письме к жене советовал непременно читать со «старшими» детьми эту книгу, давая им ненавязчивые уроки русского языка.

Раздраженный болтовней современных российских критиков о том, что «нынешний читатель» взыскует у писателя «правды жизни», а не «чистого искусства», напоминает позабытое, видать, этими критиками: «Один хороший автор рождает сотни читателей, но целый народ читателей не произведет ни единого, даже посредственного автора».

Прочитав, что пишут народившиеся, наконец, в России литературоведы-аналитики о Пушкине, огорчается: «В Пушкине преследуют какой-то предначертанный идеал и ломают его и растягивают по этому Прокрустову образцу. А Пушкин был всегда дитя вдохновения, дитя мимотекущей минуты. И оттого все создания его так живы и убедительны. Это Эолова арфа, которая трепетала под налетом всех четырех ветров с неба и отзывалась на них песнею. Рассекать эти песни и анатомизировать их — и вообще создание всякого поэта — и искать в них организованную систему со своею строгою и неуклончивою системою — значит не понимать Пушкина в особенности, ни вообще поэта и поэзии».

Почитывает русские журналы — и легко ловит неточности и нелепости: «Из любви к правословию русского языка не надобно допускать кривотолк в понятиях». И тут же — далее: «Русский язык богат сырыми материалами, как и вообще русская почва. Отделка, оправа, изделие плохо нам даются. У нас в языке крупные ассигнации: в мелких недостаток, потому и вынуждены мы прибегать к иностранным монетам. Язык наш богат в некоторых отношениях, но в других он очень беден. Наш язык не имеет микроскопических свойств. Мы все выезжаем на слонах, а человеческое сердце есть кунсткамера разных букашек, бесконечно малых, улетающих эфемеров»...

И не только, разумеется, о литературе здесь есть строчки, по моему, замечательные. Жалко не процитировать, хотя бы некото-

рые, немногие — ведь не перепечатывались, повторю, больше столетия, и не факт, что в обозримом будущем переиздадутся.

Встретив у кого-то филиппику по поводу разгулявшегося после Крымской войны «квасного патриотизма», когда любовь к отечеству выказывается более всего «в ненависти ко всему иноземному», предлагает заменить броский эпитет на более, по его мнению, точный — «сивушный».

Дополняет расхожую поговорку: «Бедность не порок, но, к сожалению, вводит в порок».

Иронизирует над бравадами политиков: «Редко министр иностранных дел захочет оставаться праздным и дать забыть о себе. А между тем дипломатия только тогда и хороша, когда о ней, как о кесаревой жене, никак не говорят».

Сомневается в будущем: «Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы, но знаю, что путь дальний и дорога весьма негладкая».

Ну, и о себе, о собственных нередко возникающих в стихах сетованиях на выпавшие ему теперь, в старости, тяготы: «Вероятно, мы часто жалуемся на судьбу, не замечая, что во многом мы сами своя судьба»...

Десять лет спустя он возвращается в Венецию.

А перед этим пишет два стихотворения под общим заглавием «Хандра». Первое начинается повторной реминисценцией, уже упоминавшейся чуть раньше:

*А есть ли где-нибудь приютный уголок,
Где б мог я отыскать спокойство и здоровье,
Где б жизнь моя вошла в свой обыденный ток,
Где сон дало бы мне ночное изголовье?..*

Второе — пронзительней, безнадежней:

*Мне все прискучилось, приелось, присмотрелось,
В томительной тоске жизнь пошлую влачу;
Отвсюду мне уехать бы хотелось
И никуда приехать не хочу...*

(Помечу, к слову: шесть десятилетий спустя нечто весьма подобное выскажет о себе Ходасевич, который, судя по написанному им о Вяземском, числил его исключительно «поэтом пушкинской поры» и потому едва ли читал эти стихи: «По залам прохожу лениво, / Претит от истин и красот, / Еще не виданные дива, / При-знаюсь, знаю наперед...»)

«Уголок» сыскался. И, как выяснилось вскоре, «прискучилось» не все. Во всяком случае, не Венеция.

И почти сразу интонация — и настроение — меняется, светлеет, словно солнечный луч пробился, упал на «Фотографию Венеции»:

*В объеме чудной панорамы
Земли не видно: все вода.
Плавучие дворцы и храмы,
Как бы на якоре суда,
Как будто ждут, чтоб ветер попутной
Расшевельил их паруса!
Глядит задумчиво и смутно
Дворцов маститая краса!..*

Что снова потянуло, привело его сюда? И так надолго? Мне думается, что таким вот образом, опять же, *бессознательно*, откликнулась процитированная им в одной из давних, более сорока лет назад написанных статей мысль его друга, влюбленного в Италию: «Батюшков, опровергая мнение Даламбера, что поэт на необитаемом острове перестал бы писать стихи, потому что некому читать и хвалить их, а математик продолжал бы проводить линии и составлять углы, указывает на Капниста, который в Париже писал свои бессмертные стихи. “Париж был сей необитаемый остров для Капниста”, — говорит Батюшков»...

Стихи Вяземского тоже почти некому «читать и хвалить», кроме нескольких, по пальцам нетрудно счесть, друзей и добрых знакомых. Однако он продолжает их писать — много, больше, чем когда-либо прежде. А в России, судя по записным книжкам минувшего десятилетия, остаться более или даже менее наедине с этим занятием очень непросто. Отвлекает, мешает окружающая *суета*, уклониться от которой нет никакой «простительной» возможно-

сти, вроде недомогания, например. Светская *скороговорка* столичной жизни — и необходимость наблюдать лично, уж коль скоро он неподалеку, день пути, за происходящим в его Остафьеве, какое удовольствие ни доставляли бы прогулки по окрестностям. Бесконечные приглашения-визиты, от которых неловко, а то и невозможно — из приличий — уклониться, да и не сказать, чтобы они были ему неприятны, упоминает-фиксирует без намека на раздражение. И похоже, что в своих поездках этих лет по Европе он как бы ищет свой «необитаемый остров». Каким был Париж для Капниста. Или — в середине двадцатых — Москва для Мицкевича.

Он любил Париж, этот город вечного праздника, не раз и охотно в нем бывал, но теперь не тот случай: «Там нет будней, а будни нужны моим нервам, нужен отдых, полусвет»...

Едет в Швейцарию. Некоторое время живет в Лозанне, смолоду знакомой ему по замечательному описанию Руссо, в город, где французскому философу так хорошо и спокойно думалось и сочинялось. Нет, не то, все ныне по-другому. «С Швейцарией у меня не складывается»...

Его *островом* становится Венеция. Почти не метафорически:

*Недаром здесь вода, везде вода,
Недаром здесь немое рыбе царство...*

И за восемь проведенных, прожитых здесь месяцев в записных его книжках... одна-единственная *итальянская* запись, про нее скажу потом, и нет ни одного (!) упоминания Венеции. Как будто все, что хотел про нее сказать *в прозе*, уже сказано, десять лет назад, когда *обживал* ее. Зато есть стихи *венецианские* — три десятка. И еще несколько — после недолгих выездов в близкие от нее итальянские города. Вместе с прежними — *венецианскими* и более ранними («Флоренция», «Рим», «К Риму») — в двух последних томах Полного собрания сочинений набирается целая книга, и немаленькая, две с половиною тысячи строк, стихов об Италии. Вяземский — единственный русский поэт, у которого есть *книга итальянских стихов*. И больше половины этих стихов не было до недавних пор включено ни в одно его издание, ни в прошлом, ни в нынешнем веке (впрочем, лет пятнадцать назад, одно издание — крохотным тиражом — все-таки было, куда составители, я бы

сказал, сгребли-свалили беспорядочно — из Полного собрания сочинений — чуть ли не все стихи, в посмертные издания не попадавшие, и, думаю, именно это *беспорядочность* оставила книжку вне читательского — и стиховедческого — внимания)...

Новые стихи — не совсем такие, как раньше, подчас и совсем не такие. Среди прежних были эффектные пейзажи («Ночь в Венеции», «Царица красоты»»), зарисовки, попытки сымпровизировать, слегка стилизуя, услышанное («Баркароллы») etc. Ныне — другое. Ведь и Венеция — другая. Начавшееся три года назад объединение Италии вокруг столицы — Флоренции — долетело до нее, смешалось с ее ветрами.

В декабре Вяземский на несколько дней отправился в Милан. «Был у старого знакомого Мандзони. Он показался мне бодрее прежнего. Он помолодел с восстановлением Италии. Кажется, ему за 75 лет (78. — В.П.)... Он сказал мне: не все еще для Италии сделано, что должно сделать, но сделано много, и мы пока должны быть довольны... Я попросил фотографии его, которую видел у фотографа. Не дал, говоря, что и ближайшим друзьям и родственникам отказывает. В прежний мой проезд через Милан просил я его дать мне строчку его автографии. Тоже отказал, говоря, что все это тщеславие, а что он, по возможности, отказался от всего, что сбивается на суетность. Но нет ли в этих отказах другого рода тщеславия?.. Не давать их, не делать того, что все делают, есть придавать себе особую цену. Не подозреваю Мандзони в сознательном подобном умысле. Но на деле выходит так...»

Та самая — единственная — итальянская запись, о которой упоминал. К *теме перемен*, понятно, относится лишь первая треть ее. Но мне было жаль обрывать там, уж больно остальное забавно.

Через три года в состав Италии войдет и Венеция. Еще через четыре — Рим, туда и переместится столица.

Предчувствия этого недалекого будущего отзываются в стихах.

*И я желал бы зреть Венецию свободной,
Но жизнью собственной, ее преданьям сродной...*

И резче, определенной, тревожней:

*...Но в роскошной неге юга
Всюду чувствуешь скрытый гнев;
И сердито друг на друга
Дуются орел и лев.*

Не дошло еще до драки:

*Тишина перед грозой;
Но по небу ходят мраки
Над напуганной землей.*

И сожаление о том, что едва ли все это произойдет мирно:

*Смешно и жалко видеть, как без цели
Мы портим жизнь, как братскую семью
Разбили мы на спорные артели
И тратим силы в родственном бою.
Есть на земле границы между нами —
В земле же мы все будем земляками.*

(Не удержался-таки, сослался опознаваемо в двух последних стихах на Карамзина, сказавшего некогда, что мы «прежде всего земляне» и только потом «областные жители».)

Среди стихов появляются «жанровые»: иронически-пародийное описание английских туристов («На Canal grande леди, миссы / Слетелись, будто саранча...»), бытовые зарисовки («Накинут на гондолу фельце...»), сюжетные («Старый гондольер») etc. А пейзажи становятся разнообразней — от обращенной к Венеции любовной лирики («Я было разлюбил красавицу свою...») и до отклика на окружающее, слитно мыслью и чувством:

*Мир фантастический, причудливый, прелестный!
Кому твои мечты и таинства известны,
Кто мог уразуметь их сладостный язык,
Кто чувством в этот мир загадочный проник...*

Именно это стихотворение — «Фотография Венеции» — переписал Тютчев, не пометив, естественно, автора, не опасался забыть.

Так и сохранилось оно среди его бумаг. И в посмертных изданиях печаталось как «тютчевское», хоть и было уже опубликовано в Собрании сочинений Вяземского, пока Брюсов не заметил и не исключил его. Составители тютчевского издания попросту не читали томов сочинений Вяземского. Больше упрекнуть их не в чем. Стихи и впрямь близки лирике Тютчева. Равно как некоторые поздние сочинения Тютчева — стихам Вяземского. Про то еще скажу. А пока — о стихах, из Венеции к Тютчеву обращенных:

*Вот и крещенские морозы!
Точь-в-точь на невском берегу:
Метет метелица на Пьянце,
Как на Царицыном лугу...*

*Бушует по лагунам вьюга,
Несется дикий вой и рев:
И на столбе продрог с испуга
И холода крылатый лев.*

*Взъерошил шерсть ему и гриву
Курчавый и мохнатый снег:
И южный царь глядит сердито
На этот северный набег.*

*Чутьем он севера не любит
И крепко знает почему:
Как Пушкин наш, сказать он может,
Что север вреден и ему...*

Десятка три лет тому назад, прочитав у критика по поводу своих стихов, что мысль в них отражена очень хорошо, «но что за звуки!», Вяземский откликнулся коротко и жестко: «В стихах хочу сказать то, что сказать хочу». И эту перепалку мысленно можно отнести к изрядному числу его стихов.

На примере этого, да и других стихов пятидесятых-шестидесятых годов нетрудно увидеть, что *письмо* его изменилось. Не только *звуки*, как в первом катрене, просквоженном посвистом «метелицы», но и самая речь стихотворная, где созвучия, риф-

мы (о которых говорил он в начале тридцатых по поводу чьих-то небрежных стихов, что следует их подбирать тщательно, как заплатки к ткани) у него становятся все более *смысловыми*, стремясь передать видение, переживание, впечатление, мысль, не в *стихах*, но *стихом*. Ну, как здесь. В первом катрене первый стих и третий не рифмуются, я бы сказал, подчеркнуто, почти демонстративно, продлевая вместо этого аллитерацию. Второй катрен замкнут созвучиями четко и чисто (abab). Среди первых шести катренов подобных ему будет лишь еще один, пятый, а начиная с седьмого — все остальные. Словно бы не всё из впечатлений откликается на созвучия, словно бы сама Венеция не дается, не желает сразу *зарифмоваться*, замкнуться в стихах поэта, напоминая, что свободна, открыта «свободной стихии» — морю. Не думаю, что поэтом, совсем неплохо умеющим рифмовать, это сделано сознательно, скорее — *по наитию*, но сделано мастерски. Равно как *пушкинское эхо*, долетевшая из первой строфы до четвертой ассоциация Венеции с Петербургом, не первая и не последняя — в *венецианских стихах*.

1864 год, первая треть которого прожита была поэтом в Венеции и середине которого поэт отметил семидесятидвулетие, что — при тогдашней средней продолжительности жизни — было возрастом более, чем *преклонным*, стал самым *насыщенным* стихами. Их к концу года набралось без малого сто. Резко, намного больше, нежели в любом из прежних. И начало этому *приливу* задал *венецианский* цикл — волне, которая постепенно, медленно затихая, прокатилась почти на полтора десятилетия. И большинство лучших стихотворений второй половины жизни Вяземского создано в эту пору.

Однако вернусь ненадолго к двум процитированным стихотворениям. Одно — Тютчевым переписано, второе — ему адресовано. Не только в них, но и в других, тогда сочиненных, все более отчетливо проступает *тема*, которая, насколько мне известно, никогда прежде особого внимания не привлекала. Оттуда же, из Венеции, — стихотворение, адресованное жене Тютчева, Эрнестине. А в конце года, в декабре, на тютчевское:

*Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может... —*

Вяземский откликается:

*Твоя подстреленная птица
Так звучно-жалобно поет...*

Знакомство Вяземского с Тютчевым началось, повторю, осенью тридцать четвертого, когда Вяземские останавливались в Мюнхене по пути в Рим. Напомню, что именно поэтому два года спустя кузен жены Вяземского и сослуживец Тютчева по российской дипломатической миссии в Баварии князь И.С. Гагарин привез Петру Андреевичу в Петербург из Германии тютчевские стихи. Каковы Вяземский и отнес Пушкину — в «Современник». А сдружились поэты десять лет спустя, в сорок четвертом, когда Тютчев вернулся в Россию (и когда, напомню, не стало Баратынского; похоже, что потеря та повлияла психологически на стремительное сближение Вяземского с другим *поэтом мысли*). С этого года начинается четвертьвековая (!) переписка — по-французски — между Вяземским и Эрнестиной Тютчевой (недавно она впервые издана — в переводах на русский — томом в шесть сотен страниц), можно сказать, что *через нее* поэты нередко переговаривались (Тютчев к «эпистолярному жанру», так скажем, *не тягостел*). А его жена оказалась замечательным адресатом-корреспондентом, и Вяземский высоко ценил ее *эпистолярный дар*, писал как-то к ней, что, если когда-нибудь ее письма будут изданы, они станут событием в этом литературном жанре (ныне есть возможность сие пророчество проверить).

У двух поэтов и в прошлом обнаружилось немало общего. Ну, например, одним из домашних учителей пятнадцатилетнего Вяземского был поэт-профессор Алексей Мерзляков, ведавший в Московском университете кафедрой русского красноречия и поэзии. Десять лет спустя пятнадцатилетний Тютчев увлеченно слушал лекции Мерзлякова на университетском Словесном отделении...

Из записных книжек Вяземского (середина пятидесятых): «Читал я с принцессою... некоторые стихотворения Тютчева».

И еще: «Был у меня Московского университета Майков (А.А. Майков, профессор-славист, кузен поэта. — В.П.). Тютчев читал ему свои последние стихи»...

В шестьдесят первом дочери Тютчева посвящено одно из стихотворений Вяземского. А Тютчев в день рождения Вяземского

пишет стихи, упоминая в них и отмеченный в начале года пятидесятилетний юбилей литературного творчества *адресата*:

*...Смотрите, как, облитый светом,
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом
Великолепный этот день...*

*Фонтаны плещут тиховейно,
Прохладой сонной дышит сад —
И так над вами юбилейно
Петровы липы здесь шумят...*

Если положить рядом поздние стихи этих двух поэтов и неторопливо читать, не надобно особенных усилий, чтобы обнаружить *родственное*. В манере письма, в ироническом, а то и саркастичном отношении к «характерным» чертам *современности*, в драматичном и философичном одновременно осмыслении прожитой жизни и своего приближения к исходу из нее.

В семьдесят втором — у Вяземского:

Не я ли искупил ценой страданий многих
Все, чем пред Промыслом я быть виновен мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить *злопамятливый* Бог?

Меньше чем через год, в феврале семьдесят третьего, полупарализованный, умирающий Тютчев пишет последнее стихотворение:

Все отнял у меня *казнящий* Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему еще молиться мог.

(Курсив мой. — В. П.)

Не перестаю удивляться тому, что *тема* «Вяземский и Тютчев» до сих пор не привлекала к себе сколь-нибудь серьезного внима-

ния исследователей тютчевских жизни и творчества. Ведь их знакомство и общение — и переключки стихами, и переписка Вяземского с Эрнестиной, — длились без малого три десятилетия, много дольше, нежели дружба Вяземского с Пушкиным, каковую пушкинисты проштудировали, так сказать, «до запятых».

А тут — разве что упоминания, *вскользь*, в комментариях. Много лет назад, учась в Литинституте, я говорил об этом с правнуком Тютчева, Кириллом Васильевичем Пигарёвым, историком литературы и директором тютчевского Музея-усадьбы Мураново, который вел у нас семинар по творчеству Тютчева, Он тоже удивился, сказал, что этим, конечно, стоит заняться. Но, видимо, так и не собрался...

После Венеции Вяземский прожил полтора десятка лет. И *венецианские* отзвуки, ощущения, *метафоры* то и дело проступали, проявлялись в его стихах, далеко в прошлое подчас уводя, скажем, к пушкинскому «Ариону»:

*Давно плыву житейским морем,
Не раз при мне вздымался вал,
Который счастьем или горем
Пловцов случайно заливал...*

И воспоминание о море не метафорическом, которое само — воспоминание, таящее все былое, только вслушайся:

*Опять я слышу этот шум,
Который сладостно тревожил
Покой моих ленивых дум...*

Историки литературы М.П. Погодин, П.И. Бартенева, Я.К. Грот не раз обращались к нему, просили, настаивали, чтобы написал он воспоминания, кому же, как не ему, столько прожившему, видевшему, знавшему, сотворить, наконец, свой *мемуарный автопортрет*. Он отнекивался, отшучивался, поясняя: «Вы хотите, чтобы я написал и свой портрет во весь рост. То-то и беда, что у меня нет своего роста. Я создан как-то поштучно, и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках... Чем богат, тем и

рад. Фасы моей от меня не требуйте. Бог фасы мне не дал, а дал мне только несколько профилей».

Вот так «отрывочно», эскизами профилей прочерчены воспоминания в стихах и в прозе его последних лет.

Поминает ушедших: «Дельвиг, Пушкин, Баратынский, / Русской музы близнецы»... Окликает одного из них:

*...Но все же, может быть, рожден я не напрасно,
В семье людей не всем, быть может, я чужой,
И хоть одна душа откликнулась согласно
На улетающий, минутный голос мой.*

И словно слышится из полувекового далека, от Баратынского:

*...Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньях...*

А в прозе — подробно отвечает в письме к Погодину на его вопросы о Карамзине. В другом письме — к нему же — рассказывает все, что уверенно помнит, про историю «Арзамаса», за остальным отсылает его к «Запискам» Вигеля.

И тут же, листая «Записки» бывшего вождя супротивной «Арзамасу» «Беседы», не отказывает себе в удовольствии — через полвека после той литературной «войны» — подшутить над бывлым противником: «Шишков в Записках своих называет лягушек насекомыми, и забавно, что в то самое время, когда император Александр назначил его, по просьбе его, президентом Российской Академии».

*В воспоминаниях ищу я вдохновенья,
Одною памятью живу я наизусть...*

И возникшая почему-то из памяти, занесенная мимоходом на страницу строка о последних в жизни словах В.Л. Пушкина: «Как скучен Катенин», — по загадочным свойствам эха отзовется «карандашом, дрожащим почерком, во время предсмертной болезни автора» (из «Примечания Издателя» к записи, завершающей последнюю, тридцать вторую «Записную книжку» поэта в десятом

томе Собрания сочинений) последней в жизни строкою Вяземского: «Хемницер иногда вял и пуст до пошлости».

После этой записи Вяземский на столетие останется самым непрочитанным и недооцененным из лучших русских поэтов девятнадцатого века.

«Вяземского исключительно интересно читать, потому что он никогда не лжет» (Иосиф Бродский).

